

---

# История классической литературы

---

Н. К. Пиксанов



## Из истории ранней русской демократии

(Черты ее идейной, моральной и социальной настроенности)<sup>1</sup>

Существует мнение, будто разночинец пришел в русскую литературу и жизнь в 60-е годы XIX в. Здесь — историческая ошибка. В 60-е годы, а еще вернее в 40-е годы, разночинец проявился как большая общественная сила. Но выдвигаться он начал еще в XVIII в. Еще в петровское время, и чем дальше тем заметнее, в России возник и развивался социально-экономический процесс, многими чертами напоминавший тот, что будет развиваться в 30-е—40-е годы XIX в. Историки признают, что около середины XVIII в. в России ускоряется подъем промышленности, торговли, сельского хозяйства. В 1726 г. открывается Российская Академия наук. В ней, правда, первые десятилетия наблюдается засилье ученых немцев, но уже вырастает огромная фигура Ломоносова, выходца из низшего сословия и, конечно, десятки рядовых научных работников. Учреждаются научные экспедиции для изучения экономической географии страны, ее богатых недр. В 1755 г. открывается Московский университет с факультетами: медицинским, юридическим, философским, — с передовыми профессорами; почти весь первый прием студентов состоял из семинаристов, то есть разночинцев — выходцев из духовного звания. В 1757 г., при первом комплектовании учащихся, для Академии художеств было набрано 22 мальчика из солдатских детей. В 1765 г. открылось Вольное экономическое общество к «поощрению в России земледелия и домостроительства». Для всех этих и других подобных учреждений и предприятий понадобились сотрудники, студенты, специалисты. Отсюда — рост разночинства — из крестьян, мещан, чиновников, купцов, духовенства, солдат. Разночинство заполнило школу, университетскую науку, разные виды умственного труда. Уже начало сказываться влияние разночинцев и в политической жизни; в Комиссии для составления нового уложения уже чувствовалось участие разночинцев. Оно же было ошутимо в необычайно быстро растущей художественной литературе, в театре, в пластических искусствах, в журналистике. Все больше пополняется исследователями список разночинцев-единомышленников Радищева, а самого его правильнее мыслить как революционера-демократа, идейного вождя этой группы.

Кадры разночинцев быстро вырастают в начале XIX в. — с учреждением гимназий и других типов школ, с университетами: Казанским,

---

<sup>1</sup> Из «Введения» к монографии об И. А. Гончарове.

Харьковским, Дерптским, потом Петербургским, Киевским, Новороссийским. Как высоко и быстро могли подниматься разночинцы, показывает пример М. М. Сперанского; сын сельского священника, преподаватель Главной духовной семинарии, он становится доверенным лицом Александра I, позднее — сибирским генерал-губернатором, наконец, при Николае I получает титул графа. Выходцы из крепостных, М. П. Погодин и А. В. Никитенко, были профессорами, а потом и академиками. Знаменитый архитектор В. И. Баженов, вице-президент академии художеств, был сыном дьячка.

Ошибочно думать, будто движение разночинцев вперед было безудержным и легким, — наоборот. Тот же Сперанский, по проискам придворной знати, был предан царем и выслан сначала в Нижний Новгород, потом в Пермь, наконец, в Сибирь; ссылка была «почетной», но сломала все дальнейшее политическое поведение Сперанского и поставила этого сильного человека на службу архаической дворянской клике. Сломлен был поборник разночинской интеллигенции, редактор «Московского телеграфа» Н. А. Полевой. Без особого трагизма, но не без внутренней ломки стали на службу правящего сословия и самодержавия Погодин и Никитенко. Следует помнить, что XVIII век был временем становления дворянской монархии, которая уже умела выдвигать своих собственных идеологов и политических вожakov. Против либеральных реформ Сперанского выступил в 1811 г. Н. М. Карамзин со своей пресловутой «Запиской о древней и новой России». Разночинцы были нужны в государственном механизме России, но самодержавно-крепостнический режим уже ставил преграды его усилению. Характерно, что при открытии Московского университета при нем были учреждены две гимназии: дворянская и разночинская. При Шляхетском Кадетском корпусе было открыто особое «заведение» для подготовки для Корпуса воспитателей, учителей и подобных — из мещанских детей. Было составлено Постановление о различении дворян и разночинцев в гимназиях и университетах. Разница между «благородными» и «разночинцами» в первой Московской гимназии четко проводилась еще в 40-х годах XIX в. При открытии Казанской гимназии в 1759 г. был выделен особый разночинский «класс», представлявший как бы отдельную гимназию. С XVIII в. для обучения «благородных девиц»-дворянок стали учреждаться отдельные институты во главе со Смольным, и эти закрытые заведения просуществовали до Октябрьской революции.

Сословная политика правительства в школе приносила свои злые плоды. В воспоминаниях И. И. Панаева читаем: «Отрешившись мало-помалу от большей части диких взглядов и предрассудков той среды, в которой я вырос и воспитался, я могу говорить о своем прошедшем, не смущаясь. Я учился в Благородном пансионе при Петербургском университете (теперь 1-я гимназия). Перед этим я был помещен в Высшее училище (теперь 2-я гимназия), в котором я пробыл только две недели... Я умолял, чтобы меня взяли оттуда, потому что не хотел учиться вместе с детьми разночинцев и ремесленников. В двенадцать лет, несмотря на совершенное ребячество, я уже был глубоко проникнут чувством касты, сознанием своего дворянского достоинства. Мольбы мои взять меня из Высшего училища нашли не только совершенно основательными, но даже некоторые из близких мне людей рассказывали об этом своим знакомым с гордостью: «Дитя, а какие высокие чувства!», — и я выиграл этим в глазах родных и знакомых. Меня определили в Благородный пансион»<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> И. И. Панаев. Литературные воспоминания, ГИХЛ, М., 1950, стр. 3—4, 353—354.

Усилия властей к изолированию барчуков от разночинцев и наоборот — многочисленны и настойчивы в XVIII в. и в первое десятилетие XIX (впрочем, и позже — вспомним меры к недопущению «кухаркиных детей» в гимназии в последних десятилетиях века).

Но вот что поразительно: вопреки всем усилиям разночинская молодежь неудержимо проникала и в среднюю, и в высшую школу, и в науку, и в литературу, — и, что еще удивительнее, в специальные военные, средние и высшие учебные заведения. Приведу только один пример. Попович, семинарист, студент духовной академии, потом — Московского и Петербургского университета Ир. И. Введенский был главным наставником-наблюдателем военно-учебных заведений (с 1852 г.); он был составителем руководств для военно-учебных заведений; состоял постоянным преподавателем словесности в Константиновском кадетском корпусе. А ведь этот талантливый переводчик и пропагандист Диккенса и других передовых английских писателей был другом Чернышевского, который в молодости участвовал в кружке Введенского.

Временем напряженного роста русского разночинства и его вторжения в русскую культуру были 40-е—60-е годы. Не буду излагать в подробностях социально-культурной истории разночинства. Читатели располагают обильной литературой по этому вопросу. Назову коллективные труды: «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.» в четырех томах; «История русского романа» в двух томах; «История русской критики» в двух томах; «История русской литературы», Изд-во АН СССР, Институт русской литературы, т. VII и VIII, ч. 1 и 2. Сюда же примыкают два ценных единоличных труда: Г. Н. Поспелов. «История русской литературы XIX века» и В. И. Кулешов. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века». Накопилось много специальных дробных исследований о литературе выше названных десятилетий; она выборочно зарегистрирована в обширном коллективном труде: «История русской литературы XIX века. Библиографический указатель», редакция К. Д. Муратовой. В необходимых случаях я буду ссылаться в сносках на те или другие исследования. Ср. И. М. Красноперов. Записки разночинца. «Молодая гвардия», М., 1929.

В названных выше трудах, естественно, говорится всего более о литературе, о беллетристике, литературной критике, публицистике, журналистике. Дорожа тесными связями литературы с жизнью, постараюсь точнее и полнее определить эти связи, социальный субстрат литературы и культуры. Воспользуюсь цитатой из работы А. С. Нифонтова: «Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века». Здесь читаем: «Только среди виднейших представителей русской культуры этого периода можно назвать уже несколько десятков ученых, писателей, журналистов, артистов и художников, вышедших из круга разночинцев. Купеческая среда дала Н. А. Полевого, В. П. Боткина, И. А. Гончарова, И. И. Лажечникова. Из духовенства вышли Н. Г. Чернышевский, Н. И. Надеждин, С. М. Соловьев (историк. — *Н. П.*). В семьях мелких чиновников и служилой интеллигенции выросли В. Г. Белинский, Н. Х. Кетчер (врач, переводчик и издатель сочинений Белинского. — *Н. П.*), В. И. Даль, Я. П. Полонский, Ф. И. Буслаев (литературовед и искусствовед. — *Н. П.*), И. Е. Забелин (историк. — *Н. П.*). Крестьянского происхождения были Т. Г. Шевченко, Е. С. Семенова (актриса. — *Н. П.*), М. С. Щепкин, А. В. Кольцов, А. В. Никитенко и другие»<sup>3</sup>. И еще: «Огромный бюрократический аппарат самодержавия требовал большого количества чиновников. Относясь враждебно к нау-

<sup>3</sup> Сборник «Революции 1848—1849», т. II, М., 1952, стр. 222. Рядом с Чернышевским следовало бы назвать Н. А. Добролюбова.

ке, просвещению и литературе, Николай I вынужден был считаться с необходимостью основания новых учебных заведений, развитием печати. За первую половину XIX в. количество студентов только в университетах выросло более чем в три раза; к 1848 году их насчитывалось свыше четырех с половиной тысяч. В гимназиях обучались также тысячи учащихся. Общее число одних периодических печатных изданий к концу 40-х годов достигло 130»<sup>4</sup>.

Цифровые данные, приводимые Нифонтовым, относятся, главным образом, к 40-м годам; в 50-х и 60-х годах разночинцев становилось все больше и больше и не только в Петербурге и Москве, но и в других городах: Киеве, Одессе, Риге, Казани и др.

Бывали случаи, когда разночинец, явившийся в большой город, поднимался быстро вверх, к материальному благосостоянию; таков был и Гончаров, испытавший в молодости угрозы и удары бедности. Но в огромном большинстве разночинцы вынуждены были долгие годы бороться с бедностью<sup>5</sup>. Тот демократизм, который охватывал большинство разночинцев, питался и стимулировался близостью к городской и деревенской бедноте. Вот два примера. Известный естествоиспытатель и вместе беллетрист, Егор Петрович Ковалевский, находившийся в общении с петрашевцами, в своей повести «Виртуозы» («Финский вестник», 1845, № 3), описав роскошный дом — дворец барона Зегемана, продолжает: дом этот «гордо возвышался в отдаленной части города и величием своим подавлял бедные лачуги, окружавшие его, и беднее и жалче всех была именно лачуга, которая стояла обок с великолепным жилищем Зегемана. Громадный дом отнимал воздух у бедной хижины, как бы доказывая, что и этот божий дар не для черни, лишал покоя ночью, лишал света днем». «Нищета поднимет на заре ее жильцов и уложит только на заре, и до пробуждения будет сторожить их жесткое ложе и тяжелый сон». «... Трава пробивалась сквозь пол; плесень покрывала стены, потолок был вдавлен и грозил падением». В этой жалкой лачуге жил бедняк-скульптор и его сестра.

Можно было бы подумать, что молодой тогда литератор Ковалевский сгущает краски. Но вот позднее, уже будучи председателем «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» (Литературный фонд), на годовом собрании Общества в 1861 г., Ковалевский сказал: «Те, которым громкая литературная известность дает возможность более чем безбедного существования, не могут себе представить, в каком положении находится меньшая их братия, эти труженики второстепенных и мелких журналов, и с какими усилиями зарабатывается ими скудная плата. Мы видели между ними нужду потрясающую. Один из наших сочленов, которому пришлось посетить просившего о вспомоществовании, нашел его помещающимся с женою и семилетней дочерью в чулане, на лестнице, где прежде складывались дрова. За квартиру он платил три рубля. Если прибавить, что наскоро составленная печь не нагревала чулан и до семи градусов, что это семейство целый год не употребляло мясной пищи, то это еще малейшие лишения, которым оно подвергалось»<sup>6</sup>.

В нищете жил безвестный молодой скульптор, описанный Ковалевским. Но вот как жил известный, потом прославленный, литературный критик Белинский. А. Я. Панаева вспоминает: по приезде из Москвы в Петербург «Белинский нанял себе комнату от жильцов (от жильцов! — Н. П.) — против нашего дома во дворе — и пригласил нас на ново-

<sup>4</sup> Сборник «Революции 1848—1849», т. II, М., 1952, стр. 222.

<sup>5</sup> Ср. Н. К. Пиксанов. Пушкин и петербургская беднота. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III, Л., 1960.

<sup>6</sup> Цитаты из высказываний Е. П. Ковалевского сообщены мне Б. А. Вальской.

селье пить чай. Комната была у него в одно окно, очень плохо меблированная. Я вошла и удивилась, увидя на окне и на полу у письменного стола множество цветов. Белинский, самодовольно улыбаясь, сказал: — Что-с, хорошо?.. А каковы лилии? Весело будет работать, не буду видеть из окна грязного двора. Любуясь лилиями, я спросила Белинского:— А должно быть, вам дорого стоило так украсить свою комнату? Белинский вспыхнул (он при малейшем волнении всегда мгновенно краснел). — Ах, зачем вы меня спросили об этом? — с досадою воскликнул он. — Вот и отравили мне все! Я теперь вместо наслаждения буду казниться, смотря на эти цветы. Панаев его спросил: — Почему вы будете казниться? — Да разве можно такому пролетарию, как я, позволять себе такую роскошь! Точно мальчишка: не мог воздержаться себя от соблазна! Денежные средства Белинского тогда были очень плохи»<sup>7</sup>. Потом Белинский женился, имел дочку, его популярность все возрастала, но материальные условия оставались скудными.

Нетрудно представить, как бедность откладывалась на психологии и социальных воззрениях разночинцев. Впрочем, разночинцы-писатели сами нам об этом повествуют. Литература натуральной школы переполнена рассказами о городской и деревенской бедноте. Заглавие одного из произведений Достоевского: «Бедные люди» — является как бы общим заглавием для большой группы подобных произведений.

Но у Достоевского есть и еще одно заглавие, более сильное: «Униженные и оскорбленные». Этим заглавием охватывается обширная совокупность — не материальных, а моральных явлений. В условиях государства сословного, где самим законом и бытовыми отношениями бедные поставлены в унижительное положение перед богатыми, это оскорбительное положение переживалось бедняками постоянно и многообразно. Не все бедняки-разночинцы покорствовали насильственному быту. В более сильных, мужественных и гордых оно вызывало негодование и протесты. Отсюда зарождалась социальная борьба.

Социальная вражда, бессильно угасавшая у Макара Деушкина, других и особенно молодых спланивала в целые группы на организованную борьбу.

Не могу здесь вдаваться в подробности, но приведу — только как нарек на большую тему — цитату из письма Белинского к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 г. Белинский был тогда в полосе примиренчества; после восхвалений мудрого правительства, после возражений против «переворотов», то есть революций, неожиданно читаем: «Посмотри, как благодаря тому, что у нас нет майоратства, издыхает наше дворянство, само собою, без всяких революций и внутренних потрясений». Говоря о бесчинствах дворян — «господ военных, особенно кавалеристов», Белинский продолжает: «Помнишь ли ты, как они нахальствовали на постоях, увозили жен от мужей, из одного удалства, были ужасом и страхом мирных граждан и безнаказанно разбойничали?»

Те разночинцы, которым привелось пройти среднюю школу и учиться в университете, стать деятелями умственного труда, — стремились теоретически как-то осмыслить ужасы крепостного права, эксплуатации рабочих, собственного унижительного положения в обществе — через изучение социальных теорий и философии. В. И. Ленин пишет: «В течение около полувека, примерно с 40-х до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области»<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> А. Я. Панаева. Воспоминания, ГИХЛ, М., 1948, стр. 78. О полугодовой жизни Белинского см. в воспоминаниях И. И. Панаева.

<sup>8</sup> В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 9.

Среди них были выдающиеся или прямо гениальные мыслители: Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Шелгунов, Слепцов и др. О них написаны обширные исследования, как и добротные научно-популярные книжки и статьи, и это освобождает меня от необходимости вдаваться в подробности. Следует только наметить основные черты замечательного движения философской и социальной русской мысли.

Напомнив о великом предшественнике публицистов 40-х—60-х годов Радищеве, скажу еще только, что, в антагонизме с его революционными воззрениями, в 20—30 годах в дворянской группе писателей, среди их публицистов, возникла попытка опереться на идеалистическую философию Шеллинга и Фихте. Получила популярность романтическая философия — не декабристская, не байроническая, а консервативная; к слову сказать, сочинения Фихте были опубликованы, в количестве восьми томов, в самый разгар борьбы с новой философией (1845—1846).

Новая философия отобразила, прямо или косвенно, тот промышленный и технический переворот, о котором говорилось выше. В философских максимах это был материализм — не тот давний материализм XVIII в., который охотно осваивался русским барским вольтерьянством, а тот, который наново строился, опираясь на великие завоевания естествознания. Этот новый материализм не замедлил отозваться в русском обществе.

В наступившей социальной борьбе для русского разночинца важно было взять на свое вооружение социально-идеологическое, материалистическое мировоззрение. Выростала необходимость овладеть достижениями естествознания. Овладение естествознанием и его обобщениями в материализме осуществлялось в 40-е годы, прежде всего в русских университетах, и советская историческая наука сделала уже немало для раскрытия материалистических идей, излагаемых с университетских кафедр того времени<sup>9</sup>. Пропаганда материализма через естествоведческие изучения шла и в передовой журналистике. Так, А. Г. Дементьев в своей книге по истории журналистики (стр. 125) напоминает нам, что в «Отечественных записках» при Белинском была напечатана специальная статья А. Д. Галахова «Философия анатомии», про которую Белинский в письме к Боткину писал: «Прелесть, чудо, объядение».

Здесь показательны замечательные высказывания А. И. Герцена. В. И. Ленин писал в статье «Памяти Герцена» (1912): «Первое из «Писем об изучении природы», — «Эмпирия и идеализм», — написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездн современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуйдеалистов»<sup>10</sup>.

Здесь скажу, что молодой Герцен оказал известное влияние на Гончарова, в частности в борьбе с отживавшим барским романтизмом. В этом влиянии Герцен помогал Белинскому, руководителю равного Гончарова. В статье «Дилетанты-романтики» («Отечественные записки», 1843, кн. 3) Гончаров мог прочесть ценнейшие для творца Адуева-младшего рассуждения о смене классицизма и романтизма реализмом в западной культуре. Герцен писал: «Пока классицизм и романтизм воевали», — «возрастало более и более нечто сильное и могучее»; «сперва и тот и другой приняли его за своего сообщника», но — «на-

<sup>9</sup> Избранные произведения русских естествоиспытателей первой половины XIX века, Соцэгиз, М., 1959. — См. М. М. Абрашнев, В. П. Зубов, Н. Е. Рубцов. Роль русских естествоиспытателей первой половины XIX века в подготовке диалектического взгляда на природу, «Вопросы философии», 1959, № 12, стр. 166—172.

<sup>10</sup> В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 18, стр. 10.

конец и классицизм и романтизм признали, что между ними есть что-то другое, далекое от того, чтобы помогать им». «Мечтательный романтизм стал ненавидеть новое направление за его реализм!» «Человечество не хочет больше ни классиков, ни романтиков — хочет людей и людей современных». Для Гончарова, который сам широко изучал западную литературу, особенно важно было, что Герцен говорил о западной культуре и литературе. Это обогащало и усложняло его собственные наблюдения и размышления о судьбах романтизма в русской культуре и литературе. Было одно место в статье Герцена о дилетантах-романтиках, которое должно было сильно задеть внимание Гончарова. Говоря о росте на Западе культуры и техники («то пароходы, то железные дороги, то целые отрасли науки, вновь разработанные, как геогнозия, политическая экономия, сравнительная анатомия, то ряд машин», «которые отрешают человека от тяжких работ»), Герцен пишет: «Романтики смотрели с пренебрежением на эти труды, унижали всеми средствами всякое практическое занятие, находили печать проклятия в материальном направлении века и проглядели, смотря с своей колокольни, всю поэзию индустриальной деятельности, так грандиозно развертывавшейся, например, в Северной Америке». Это пренебрежительное, враждебное отношение к материальному прогрессу Гончаров раскрыл потом в речах Адуева-младшего. «Поэзию индустриальной деятельности» Запада Гончаров чутко отобразил в ее русском варианте, в сентенциях «заводчика Адуева-старшего», а потом, еще выразительнее, во «Фрегате Паллада»<sup>11</sup>.

Важно отметить, до какой высоты поднималась мысль передовых разночинцев-демократов при построении новой философской системы.

При начавшемся созревании капиталистического строя в экономике России, при возрастающей социальной дифференциации, в 40-е годы все явственнее обозначалась дифференциация идейная. Она становится резко ощутима также и в наиболее отвлеченной области идеологии — в философии.

Еще во второй половине 30-х годов разночинец-демократ Белинский был во власти авторитарных, идеалистических, в последнем счете, — консервативных систем философии. С начала 40-х годов он уже эволюционирует в сторону материализма, освободительных форм философии. Параллельно этому процессу в демократических кругах русского общества, в реакционно-дворянских кругах начинается отмежевание от тех философских начал, где угадывались элементы прогрессивные, освободительные.

Показательны здесь судьбы русского гегельянства.

Представители консервативно-дворянской идеологии одно время искали и находили в немецкой идеалистической философии, в том числе и гегельянстве (правом), элементы и аргументы в пользу своих реакционных социально-политических воззрений. Но потом стало ясно, что гегелевская диалектика ненадежна как опора «христианской философии», и уже в 1841 г. профессор И. И. Давыдов печатает статью «Возможна ли у нас германская философия?» («Москвитянин» 1841, № 4) и здесь рассуждает: «Германская современная философия невозможна у нас по противоречию ее нашей народной жизни религиозной, гражданской и умственной»; автор ждет, что «наш будущий Шеллинг или Гегель воссоздаст свою философию, более прочную и надежную, чем философия германская, при благодати мудрости высшей, высказанной Тем, слова Коего не прейдут, когда прейдут земля и небо».

<sup>11</sup> Подробнее — Н. К. Пиксанов. Белинский в борьбе за Гончарова. Ученые записки ЛГУ, № 76, 1941; Н. К. Пиксанов. Гончаров и колониализм, «Материалы юбилейной гончаровской конференции», Ульяновск, 1963.

Поэт, литературный критик, публицист «официальной народности» и профессор С. П. Шевырев уже утверждал, что философию Гегеля «нельзя согласовать с истинно-христианской религией». Славянофил А. С. Хомяков заявил, что основным началом философии является не гегельянский «абсолютный дух», но «божественный дух». И так далее.

Белинский, сам находившийся, в свои молодые годы, в плену немецкого идеализма, потом высвобождался из-под его ига; в 1843 г., в статье об «Истории Малороссии» Маркевича, он уже писал поразительные по глубине прозрения строки: «Гегель сделал из философии науку, и величайшая заслуга этого величайшего мыслителя нового мира состоит в его методе спекулятивного мышления, до того верном и крепком, что только на его основании и можно отвергнуть те из результатов его философии, которые теперь недостаточны или неверны»<sup>12</sup>.

К этому замечательному суждению Белинского необходимо присоединить еще другое. В статье об «Очерках Бородинского сражения» Ф. Глинки Белинский пишет: «Доселе мы смотрели на общество как на нечто единое и целое; теперь взглянем на него как на единство противоположностей, которых борьба и взаимные отношения составляют его жизнь... Но борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда оканчивается борьба»<sup>13</sup>.

Здесь, в разъяснение диалектического метода Гегеля, выдвигается его учение о законе борьбы противоположностей. К слову сказать, в литературоведческом обиходе постоянно пишут о теории отражения и обходят молчанием основной закон марксистской диалектики — закон единства и борьбы противоположностей, выдвинутый В. И. Лениным. Мы только что прочли, Белинский, как и следует, придает закону борьбы противоположностей основное значение не только в общем философском смысле, но и для осмысления социальной истории. История понимается как социальная борьба, и это стало руководящим началом в осмыслении и литературной истории для разночинцев-писателей и публицистов не только времен Белинского, но и позднейших лет. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский передал 60-м годам философское наследие Белинского<sup>14</sup>.

Одним из самых сильных исследователей-публицистов явился, в 40-х годах и в первой половине 50-х годов, Д. П. Журавский. Его работы были высоко ценимы Чернышевским и вновь оценены по заслугам в советское время. Его исследования начались в 40-х годах; они проникнуты ненавистью к крепостному праву. Журавский встал в ряды русских демократов. Методологические взгляды Журавского изложены в работе «Об источниках и употреблении статистических сведений». Книга была издана в 1846 г., а переиздана у нас в 1946 г. Особенностью работ Журавского является выдвигание проблемы классового общества. Он глубоко охарактеризовал экономическое положение крестьян и помещиков, показал развитие капиталистических отношений в России. В своих воззрениях он опередил современную ему буржуазную статистику западноевропейских стран<sup>15</sup>.

Для разночинцев тех десятилетий овладение материалистическим миросозерцанием было нелегким делом. Ведь разночинцы «выламыва-

<sup>12</sup> См. М. Т. Иовчук. Диалектика Гегеля и русская философия XIX века, «Вопросы философии», 1957, № 4, стр. 75—77; В. И. Степанов. Философские и социологические воззрения В. Г. Белинского, Изд-во Белгосуниверситета, Минск, 1959.

<sup>13</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., изд-во АН СССР, М., 1953, т. III, стр. 338, 341.

<sup>14</sup> В. Г. Белинский. Избранные философские сочинения, Госполитиздат, М., 1948, т. I и II.

<sup>15</sup> См. Н. К. Каратаев. Русская экономическая мысль в период кризиса феодального хозяйства. Изд-во МГУ, М., 1957.



лись» из социальных групп и классов, живших под игом авторитарного мирозерцания — религиозного, монархического, социально-архаического. Освобождение из-под этого ига было трудным даже для высоко одаренных представителей русского разночинства.

Остановлюсь на примере Чернышевского. Он родился и воспитывался в среде крепкого провинциального духовенства. Религиозность была стихией, какой дышала эта среда; она передавалась из поколения в поколение. На основе этой религиозности строилась и мораль. При малой материальной обеспеченности в этой среде много рабтали и питали уважение к труду, а также — и к знанию. Эта среда могла подчинять себе своих членов не только требовательной семейной и общественной дисциплиной, но и моральным авторитетом, христианской этикой. Семья Чернышевского окружила своего питомца любовной, но властной религиозно-моральной атмосферой. И только вдумавшись в это, мы оценим те гигантские усилия, какие должен был сделать Чернышевский, чтобы освободиться от уз своей среды и стать одним из творцов новой революционной морали, нового социалистического мировоззрения.

Ярко проявляется в дневниках Чернышевского его неуклонное борение с религиозностью, с христианством. В 1849 г. юноша Чернышевский взволнованно спрашивал себя: что если в самом деле явился новый мессия, и новая религия, и новый мир? «Но я не верю, чтобы было новое, и жаль, весьма жаль мне было бы расстаться с Иисусом Христом, который так благ, так мил душе своею личностью, благой и любящей человечество, и так вливает в душу мир, когда подумаю о нем».

В те годы Чернышевский уже склонялся к политическому радикализму. И вот замечательно, как новые политические настроения переплетаются у него с религиозными переживаниями. В революционный, 1848 г., вообще сильно повлиявший на созревание Чернышевского, он взволнованно следил за событиями во Франции и Германии. В газетах он прочел, что член франкфуртского парламента Роберт Блюм расстрелян в Вене, после баррикадных боев. Чернышевский возмущен. «Это ужасно, это возмутительно, мое сердце негодует, и дай бог тем, которые подали этот ужасный пример беззакония, поплатиться за это... Да падет на их голову кровь его и прольется их кровь за его кровь... На виселицу Виндишпреца и всех!... Когда шел от Славинского, молился несколько минут за Блюма, а давно не молился я по покойникам». Так причудливо переплетаются у юного Чернышевского революционные кличи («на виселицу Виндишпреца!») и молитвы по покойникам. Сам юноша чувствовал всю несовместимость двух стихий, мучился своим раздвоением, горько упрекал себя за «несмѣяние оставить понятия, которые привились к нему».

Ту же борьбу с традицией, с давлением среды и воспитания пришлось Чернышевскому вести и в отношении социально-политических взглядов.

Та же самая среда провинциального духовенства воспитывала в Чернышевском и всяческую политическую благонамеренность. Ведь именно в этой среде проповедовали, что «всякая душа властям предержащим да повинуется», что «нет власти кроме как от бога» — и т. д. В Саратове первой половины 40-х годов духовенство, мещанство, чиновничество, дворянство, купечество жили в стихии непрзглядного монархизма.

Нало это помнить, когда учитываешь освободительные усилия молодого Чернышевского. Свой наследственный монархизм юноша привез из Саратова и в столицу, и вполне естественно, если мы в его дневнике, под 18 сентября 1848 г., читаем: «Я думаю, что единственная и

возможная лучшая форма правления есть диктатура или лучше наследственная неограниченная монархия, но которая понимала бы свое назначение, что она должна стоять выше всех классов и собственно создана для покровительства утесняемых, а утесняемые — это низший класс — земледельцы и работники».

Итак, двадцатилетний юноша еще верит, что лучшая форма правления — неограниченная монархия. Но единственный смысл ее существования он видит только в защите угнетаемого класса — крестьян и рабочих. И раз дело ставилось так, скорое крушение монархических взглядов было обеспечено; несовместимость монархии и защиты утесняемых быстро стала очевидной. Через два года в том же дневнике (сентябрь 1850 г.) уже читаем: «Тогда я был еще того мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это противоположность аристократии, а теперь я решительно убежден в противном — монарх, а тем более абсолютный монарх, — только завершение аристократической иерархии, душой и телом принадлежащий к ней».

С отроческих лет просыпаются и непрерывно растут сочувствия к «утесняемым». По дневникам видно, как в душе Чернышевского вырастают социальные чувства: любовь к трудящимся, к крестьянам и рабочим, негодование против их угнетателей. И поразительно здесь вот что: крестьян Чернышевский видел в изобилии в дворянской губернии, Саратовской; там он мог наблюдать и проявления крепостничества. Но в дневниках студента Чернышевского скоро в группе утесняемых наряду с «земледельцами» появляются и «работники», «пролетарии».

Он был уже социалистом еще до социализма теоретического. Пишет ли он (19 лет) родственнице Любиньке Котляревской о романах Евгения Сю, он твердит о «бедствиях земледельческого класса во Франции». Читает ли он в 1848 г. о суде над Луи Бланом, он в дневнике гневно обличает либералов: «Не люблю я этих господ, которые говорят: свобода, свобода — и эту свободу... не вводят в жизнь»; «гворят о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором девять-десятых — орда, рабы и пролетарии. Не в том дело, будет король или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого».

И когда для Чернышевского обнажились социальные основы политического строя, его отроческий монархизм и благонамеренность словно половодьем смыло.

Осенью 1848 г. он записывает в дневнике: «Кажется я принадлежу к крайней партии». Через три недели: «Мне показалось, что я — террорист и последователь красной республики». Еще через три недели (18 сентября 1848 г.): «Я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительным партизаном социалистов и коммунистов». А через полтора года, в 1850 г., 22 лет, Чернышевский ставит вопросы, вопросы действия: «Не лучше ли написать воззвание к восстанию?» «Я, может быть, способен на поступки самые отчаянные, самые смелые, самые безумные». И, отталкиваясь от постепеновцев, Чернышевский высказывается о революционной борьбе: «Меня не испугают ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».

Тут же спешу отметить одну замечательную мысль, некое гениальное прозрение, высказанное Чернышевским опять-таки в отпор постепеновцам: «Пусть народ неприготовленный вступит в свои права: во время борьбы он скорее приготовится» (дневник 1850 г.).

Глубина революционных настроений молодого Чернышевского измеряется тем ясным сознанием, с каким он думал о последствиях своих увлечений. В 1849 г., почти на его глазах, был разгромлен кружок

Петрашевского. Тогда весь Петербург говорил об эшафоте, и в дневниках Чернышевского немало откликов на процесс и жестокую участь петрашевцев. И вот с ранней молодости Чернышевский знал, что его ждет катастрофа.

Из дневниковых записей того времени я приведу только одну, самую краткую: «Мой образ мыслей таков, что раньше или позже я непременно попадусь, — поэтому я не могу связывать ничьей судьбы со своею... Я не уверен в том, долго ли я буду пользоваться жизнью и свободой. У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят в крепость» (дневник 1853 г.).

Предчувствия сбылись: в расцвете творчества и общественного влияния Чернышевского его заключили в крепость и потом заживо схоронили в Сибири.

Поэт Валерий Брюсов сказал:

Дышать грядущим — гордая улада.

Чернышевскому в высочайшей степени присуща эта способность жить для будущего, дышать грядущим и ради него погибнуть в настоящем. Еще двадцатилетним юношей 10 декабря 1848 г. Чернышевский записал в дневнике: «Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства... И если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества их, и сладко будет умереть, а не горько»<sup>16</sup>.

В дневниках юноша Чернышевский затрагивает еще один большой вопрос о положении женщины в обществе. Он годами наблюдает бытовую жизнь двух замужних женщин — Любиньку Терсинскую и Надежку Лободовскую, неуклонно опускавшихся в низины мещанского обывательства. Чернышевскому становится тошно, и он тоскливо спрашивает: «Что это? Да кто же у нас женщина? Ребенок? Раба? А где же человек?»

В приведенных цитатах ярко сказываются идейные кризисы и социально-моральные искания молодого Чернышевского: религиозные, политические, социальные, этические, — в сущности все то, что волновало передовую разночинскую молодежь в годы культурного переворота в России.

Цитаты извлекались из дневников 1848—1853 гг., напечатанных в новейшем издании сочинений Чернышевского (т. I, 1939). Это — огромная книга, пятьсот с лишком страниц; в своем роде это — автобиографический роман, написанный с полной искренностью, правдивостью и точностью. Для исследователя совершенно ясно, что отсюда многие размышления и переживания перешли (конечно, в известной переработке) в роман «Что делать?» А роман этот — автобиографичен, размещается не в фактическом смысле, а в глубоком смысле воззрений и настроения автора. Вот в дневнике мы читаем: «Восторг, какой является у меня при мысли о будущем социальном порядке, при мысли о будущем равенстве и отрадной жизни людей, — спокойный, сильный, никогда не ослабевающий восторг». И тогда, и позже, в период написания романа «Что делать?», Чернышевский много раз слышал от скептиков и маловеров отвержение своей веры в прекрасное будущее. И вот в первоначальную редакцию романа Чернышевский вносит апологию этого будущего, апологию революционеров, борцов за будущее. Романист знает, что революционеры будут гибнуть поколение за поколением в борьбе со своими врагами. И дальше читаем: «Так что же, шикайте и срамите, гоните и проклинайте, вы получите от них

<sup>16</sup> Подробнее см. в кн.: Н. К. Пиксанов. О классиках; М., 1933, статья «Разум и сердце Чернышевского».

пользу, этого для них довольно, и под шумом шиканья, под гром проклятий, они сойдут со сцены гордые и скромные, суровые и добрые, как были... И пройдут года, и скажут люди: «после них стало лучше; но все-таки осталось плохо». И когда скажут это, значит, пришло время возродиться этому типу, и он возродится в более многочисленных людях, в лучших формах, потому что тогда всего хорошего будет больше, и все хорошее будет лучше; и опять та же история в новом виде. И так пойдет до тех пор, пока люди скажут: «ну теперь нам хорошо»<sup>17</sup>.

Эта патетическая тирада созвучна приведенным выше цитатам из юношеских дневников. Вера в победу социальной революции, как электрическим током, передавалась читателям романа «Что делать?». Она воспитывала новые кадры революционеров. Но это были не те Волоховы, каких изображал Гончаров — в затаенной полемике с Чернышевским.

Не все юноши приходили к тому же смелому и глубокому решению проблем, которое поставило Чернышевского на посту вождя революционно-демократического идейного движения в России. Но часто по велению самой жизни, а также под влиянием освободительной литературы передовая молодежь участвовала в построении нового мировоззрения и политического поведения.

---

<sup>17</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., М., 1939, т. XI, стр. 145.

*Кафедра русской литературы Ленинградского университета*

---